

Сергей Тимофеевич Аксаков

Детские годы Багрова- внука (Главы)



*Часть сборника
Большая хрестоматия для
начальной школы (сборник)*



Сергей Тимофеевич Аксаков
Детские годы Багрова-
внука (Главы)

Серия «Хрестоматии
для начальной школы»

Серия «Большая хрестоматия
для начальной школы»

Серия «Русская литература XIX века»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3933455

Большая хрестоматия для начальной школы: Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-56619-8

Аннотация

«Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет трех

или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел...»

Содержание

Вступление	5
Отрывочные воспоминания	7
Последовательные воспоминания	17
Багрово	27
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Сергей Тимофеевич Аксаков Детские годы Багрова-внука (Главы)

Вступление

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать

только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

Отрывочные воспоминания

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятых годов, предметы и образы, которые еще носят в моей памяти, – кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью, то в кровати, то на руках матери, и горько плачушим: с рыданьем и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бежала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мной. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком

же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного

полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне перевезли в подгорную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! – Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинною узенькою шейкой. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и висая в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки.

Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после – ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Иногда я лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии

между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора – по несомненным медицинским признакам, а окружающие – по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых сказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николаевна, – не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, – перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что, покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может, для моего спасения, – и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла мои легкие своим дыханьем – и я после глубокого вздоха начинал дышать

сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревьев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, поднимая руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простоя-

ли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров; но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно; оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило ко мне в первое время моего выздоровления до болезненного из-

лишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показыванием картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно», – мать послала девушку, и та

через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого щеночка, который, весь дрожа и не твердо опираясь на своя кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лаять. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по несколько раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божью, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприве-

денной причины, без которой ничто совершиться не могло, — неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна; за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов, — и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим изливанием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге, или сказал доктор — не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

Последовательные воспоминания

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. – Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлуч-

ного моего товарища – маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но некрасив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня полные напряженного внимания свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она собственно ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о

буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку, Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и

взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признавательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде, тех книг, ко-

которые читывал иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за «Домашний лечебник Бухана», но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, корни и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.

Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной Второй для рассмотрения существующих законов... Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже побаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал займы денег, которых просить

у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастье!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтобы кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила

меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому иступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громах», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку – овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно, нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и

теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновала – общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услышал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренно, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка – какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать; но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и нетрудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтобы посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем

крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтобы она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом, куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и, наконец, узнал, что дело уладилось: деньги дал тот же мой книжный благодетель, С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не бывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства – делиться моими впечат-

лениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распорядилась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую – читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, и, наконец, все было готово.

Багрово

Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам.

Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и так же повязанная платком, как наша нянька Агафья, тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости.

К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло не мало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотанье и шушуканье в коридоре.

Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», – сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь, – продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, – на кого похож Сережа: когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети, чай, с дороги кушать хотят; покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, – говорила бабушка, – что твои дети едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного кури-

ного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, – и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю из какой материи, кажется кисейный, занавес; знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины – и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать... Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать; я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, стоя

за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне невесело в Багрове, что я боюсь де-душки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко; отцу же постлали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампы, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не поможет»; а также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь; ты непременно завтра сляжешь в постель...» – слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими – встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, а потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать по

усиленным просьбам отца согласилась лечь в постель. Она помолилась богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я при-творился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала: у ней разлилась желчь и была лихорадка; она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною... страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно, – и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную.

Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай, няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтоб я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло, и, чтобы не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сест-

рица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту: тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой», и глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти! Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выразалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа! Дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками... Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красны? Ты никак плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку?» – «Маменька больна», – сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут ба-

бушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужась как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа? – громко и весело сказал он. – Он весь в дядю, Григория Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа. Мать выздоровеет. Ведь это не смертное», – и начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбнулся, наконец сказал, как-то значительно посмотрев на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, – не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, когда захочется плакать; поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услышав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты; отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава богу, – сказала мать, – я вижу, что ты дедушке

понравился. Он добрый, ты должен любить его...» Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; но мать возразила, что этого не нужно, и попросила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и о сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и не ласков. Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», – сказала мать как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что «клюквы у них много: им каждый год, по первому зимнему пути, по целому возу привозят ее из старого Багрова». Потом мать приказала привязать к ее голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за «Детское чтение», и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду между разросшимися старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал; я заметил, как выпархивали из них птички с

красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка, – и мне очень захотелось туда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.